

Татьяна Леонтьева

**Рец. на: Слова и конфликты: язык противостояния и эскалация Гражданской войны в России. Сборник статей / Под ред. Б.И. Колоницкого и др. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. 328 с.**

*Tatiana Leontieva*  
(Tver State University, Russia)

**Rec. ad op.: Slova i konflikty: yazyk protivostoyaniya i eskalatsiya Grazhdanskoj voyny v Rossii. Sbornik statey. Saint Petersburg, 2022**

DOI: 10.31857/S2949124X23010194, EDN: PQMDYH

После ста лет изучения в историографии Гражданской войны в России в исследовательском пространстве остаётся масса спорных вопросов, историки не могут определиться даже с её хронологическими рамками<sup>1</sup>. Известно, что после октябрьских событий 1917 г. Ленин предпочитал говорить о «триумфальном шествии Советской власти», которое летом 1918 г. было прервано интервентами при поддержке внутренней контрреволюции. Некоторые авторы по сей день повторяют эту политико-пропагандистскую версию событий в качестве научной; другие в порядке её скрытой поддержки изобретают «малую» гражданскую войну, якобы предшествовавшую «большой». Известны попытки отнести начало Гражданской войны к февралю—марту 1917 г. ради «оправдания» большевизма.

Есть мнение, что Гражданская война в России *de facto* и *de jure* началась 25 октября 1917 г. выступлением большевиков против Временного правительства<sup>2</sup>, но риторическая подготовка к ней велась уже задолго до этого. Гражданские войны в принципе нельзя связывать с количеством выстрелов с той и другой стороны, ибо они предполагают *гражданское* противоборство по вопросу о государственной власти. Рецензируемая книга посвящена «духу» Гражданской

войны, который, прежде чем материализоваться, обрёл соответствующую артикуляцию: «сначала было слово».

Книга состоит из 11 статей 9 российских и зарубежных авторов и обширного предисловия, написанного признанным знатоком революционных событий Б.И. Колоницким (Санкт-Петербургский институт истории РАН), который, судя по всему, и является вдохновителем данного — весьма оригинального и нужного — исследования.

Актуальность замысла и его воплощение Колоницкий связывает не только с растущим числом вооружённых гражданских конфликтов в современном мире. По его мнению, центральной проблемой становятся вопросы эскалации и легитимизации политического насилия, что требует изучения «специфических культур насилия, культур конфликтов, культур гражданских войн», при том, что некоторые социологи и политологи «не склонны придавать большого значения культурным аспектам гражданских войн» (с. 8). Это действительно так: позитивистская наука более полутора столетий противится изучению того, существование чего она не способна уловить, хотя за это время мир многократно оказывался заложником «неуловимых» сил истории. Авторы, избавляясь от сложившихся стереотипов, предлагают рассмотреть события

1917–1922 гг., используя «ключевые слова» эпохи — «гражданская война», «гражданский мир», «смута», «анархия», «большевизм», «вождь», «гражданин», «республика» — как специфическую оптику. Слова, «которые употреблялись всеми, но воспринимались и интерпретировались по-разному» (с. 11).

Книга даёт немало материала, характеризующего разрастание эмоций, ведущих к бескомпромиссному *внутреннему* конфликту, агрессивно-однозначному восприятию «чужого» социального пространства. Эмоции перерастают в представления, которые в свою очередь обретают статус понятий, способных легитимизировать случившееся в интересах победителей.

История, однако, пластична и стохастична, что сказалось на соотношении ключевых понятий в политическом дискурсе 1917 г. Так, после Февральской революции говорить о будущей революции (соответственно общепринятым представлениям и общему мироощущению) казалось невозможным. По мере углубления кризиса умеренные политики заговорили об опасности *гражданской войны*, откровенно запугивая её призраком и себя, и обывателя. И, надо заметить, подобные опасения сыграли роль «самореализующегося прогноза» (с. 59).

Книга не случайно начинается с раздела «Языки конфликта: гражданская война, смута и анархия». Как показал К.В. Годунов (Европейский университет в Санкт-Петербурге), само по себе политическое использование термина «гражданская война» в марте 1917 г. не только не привело к её развязыванию, но и, напротив, сыграло сдерживающую роль, а Апрельский кризис с теми же взаимными инвективами обернулся созданием коалиционного правительства. При этом автор отметил, что понятие «граждан-

ская война» весной 1917 г. «не было столь семантически насыщено, как на более поздних этапах развития революции» (с. 58), но его «проговаривание» стало «своеобразным прологом полномасштабной гражданской войны» (с. 59).

А.В. Шмелёв (Гуверовский институт войны, революции и мира, Стэнфорд, США) утверждает, что противопоставление революции смуте исходило из консервативных кругов с целью «унизить» развернувшийся революционный процесс (с. 61). Левые политики, оглядываясь на «универсальный» опыт Французской революции, усматривали в русской революции «положительное явление», а отсылки правых к Смуте XVII в. носили скорее панический, нежели доктринальный характер. Она казалась синонимом разрушительной стихии, хаоса, анархии.

Вспомним, что известный писатель Л. Андреев задавался вопросом: «Откуда родится Бунт?.. Каковы методы Бунта? Разрушение. Каковы его орудия? Огонь, пожары, меч и топор, насилие и убийство». Согласно его мнению, революция также выросла из недовольства существующим положением, но направлялась стремлением к *большей*, но не к *не ограниченной ничем* свободе. Однако методы и орудия бунта и революции сходны. Это возбуждает соответствующие аллюзии и наталкивает на характерные аналогии: «Вот то роковое... сходство, которое позволяет существовать вместе всемертвящему Бунту и всеживящей Революции» и которое «осложняет, путает, обманывает, сбивает с толку» даже умных людей и «наполняет всякую революционную эпоху масками и фантомами, подделками и ложью». Автор заключает: «Бунт есть начало чисто стихийное, лишённое мысли. Революция — полна мысли, она сама есть не что иное, как восставшая

мысль»<sup>3</sup>. В сущности, Андреев указал на истоки «понятийных» заблуждений, но при этом «забыл» о том, что во Французской революции было предостаточно всевозможных девиаций и охлократического неистовства. А потому не стоит смешивать понятия с метафорами и, тем более, упрекать современных авторов в сочувствии к устарелым представлениям (с. 80).

Российская революция оказалась «шире» воображаемых «стандартов», что вполне объясняется «избыточной» сложностью российских социокультурных пространств. Отсюда — характерная разноголосица относительно соотношения революции и смуты в эмигрантских кругах (с. 72–78). Представляется, однако, что вопрос решён. В.П. Булдаков, сравнив внутреннюю динамику российских «смут» (XVII в., начала и конца XX в.), показал, что это были сложнейшие системные кризисы, включавшие в себя и революции, и гражданские войны<sup>4</sup>. По существу, ещё в 1990-х гг. предлагалась новая социология революции, основанная на принципах синергетики. Однако инерция доктринальных представлений о революции сохраняется. Иные историки говорят даже о вреде *мифического* «смутоведения»<sup>5</sup>.

Выразительную картину того, как в хаотичной обстановке революции слова отделяются от смыслов и начинают жить своей жизнью, дал Д.И. Иванов (Европейский университет в Санкт-Петербурге) в статье «“Анархия” и анархисты». По его мнению, термин «анархия» вызывал ещё больший, чем смута, разброс эмоционально-смысловых трактовок; «различные политические и общественные силы наделяли это слово самыми разными значениями» (с. 91). Несмотря на все усилия идейных анархистов отмежеваться от выступающих под их флагом всевозможных погромщиков («сами анархисты вы-

ступали против “анархии”, понимаемой как хаос, беспорядок, нехватка организованности»), в массовом сознании с анархией ассоциировались «угрозы и тревоги», «готовность к насилию» (с. 90, 91, 100).

Авторы раздела «Языки согласия: гражданский мир и порядок» взяли показать альтернативы революционному хаосу. Однако И.В. Саблин (Гейдельбергский университет) пришёл к выводу, что программа «внутреннего мира» провалилась в годы Первой мировой войны даже на парламентском уровне, а в 1917 г. даже в лексике умеренных социалистов обернулась идеей единства всех «живых сил страны» против контрреволюции (с. 114–115). В дальнейшем гражданский мир стал связываться с военной победой в Гражданской войне.

Со своей стороны, М.Е. Разиньков (Воронежский государственный лесотехнический университет) отметил, что в работах современных исследователей не уделяется достаточного внимания миротворческим инициативам, исходившим от различных политических сил. При этом он признаёт: «История войн показывает, что люди, немало способствующие их началу, зачастую отличались исключительным миролюбием» (с. 128). Действительно, можно вспомнить, что даже «империалист» П.Н. Милюков до войны был активным деятелем международного Общества мира<sup>6</sup>. В итоге Разиньков заключил, что «нагромождение смыслов» в сознании политических активистов стало «одним из факторов обрушения страны в гражданскую войну» (с. 148).

Раздел «Власти и идентичности: вожди, граждане и республика» открывается принципиально важной статьёй А.В. Резника (НИУ «Высшая школа экономики») о значении «вождей» в контексте легитимации гражданской войны. Известно, что охлократия не

бывает вполне анонимной — отсюда всевозможные вожаки, атаманы, «батьки». Толпы ищут своих кумиров, которые должны уметь говорить их «голосом». Уже в декабре 1917 г. революционно настроенные солдаты не только приветствовали нового верховного главнокомандующего Н.В. Крыленко в качестве «вождя», но и готовы были оказать ему вооружённую поддержку (с. 158). В данном случае «вождь» воплощал в себе желанную цель: покончить с войной любым путём, включая насилие. В дальнейшем, по мере нарастания хаоса, соотношение между вождём, целью и средством её достижения могло меняться: вождь указывал на врага, целью становилось его уничтожение. Это происходило путём параллельной сакрализации («священной») гражданской войны и её «вождей» (с. 164–165). При этом в результате актов антибольшевистского террора, особенно покушения на В.И. Ленина, высвечивались искомые образы «великих вождей пролетариата» (с. 172–173). В конечном счёте, комбинация «высшей цели» (мировая революция) и тотальной революционной жертвенности довершила процесс персонализации вождей гражданской войны. Ими не случайно стали В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий: первый «указал путь», второй двинул по нему революционные армии. Тем не менее Резник заключил, что «между понятиями “вождь” и “гражданская война” сохранялись просветы и щели, которые указывали на возможность гражданского мира» (с. 179).

Интересна статья Ё. Икэды (Токийский университет, Япония) о «приключениях» в революционном дискурсе слова «гражданин». Заслуживает особого внимания указание на то, что в 1917 г. оно стало для кадетов «орудием для сопротивления» охлократии (с. 194). Остаётся сожалеть, что автору не пришлось сопоставить

(или противопоставить) его с политизированным термином «товариш». Икэда лишь отметил, что уже в апреле 1917 г. слова «граждане» и «товарищи» использовались «как маркеры противостоящих миров» (с. 191), а позднее их противопоставление усилилось. Фактически белогвардейцы воевали против «товарищей» (большевистских комиссаров). В Советской России понятие «гражданин» стало амбивалентным (с. 200), а в СССР оказалось на периферии массового сознания.

На протяжении 1917 г. обесцветился и обесмыслился другой революционный термин — «республика». Как отмечает Д.И. Иванов (Европейский университет в Санкт-Петербурге), с самых первых дней революции под республиканцев стали мимикрировать не только кадеты, но и правые. Кроме того, само понятие оказалось дискредитировано местными «республиками». (На деле страхи перед подобным «республиканским» сепаратизмом были преувеличены.) Провозглашение России республикой в сентябре 1917 г. не добавило авторитета этой форме правления: многие считали, что она непременно должна быть «демократической» и «федеративной». Наконец, позиции республиканской формы правления пошатнула большевистская пропаганда Республики Советов (с. 229). Можно сказать, что слово «республика» обесмыслилось ещё до установления большевистской диктатуры (тоже под республиканским флагом).

Заключительную часть сборника составляет раздел «Политические образы врага: большевизм и “большевизмы”». Как видно уже из названия, он получился несколько односторонним: агрессивное насыщение революционной риторики концентрировалось не только вокруг большевиков, хотя в очень значительной степени было связано с их пропагандистскими

устремлениями. К.А. Тарасов (Санкт-Петербургский институт истории РАН) обратил внимание на то, что в политическом языке 1917 г. слова «ленинцы» и «большевики» отнюдь не означали одно и то же. Меньшевики, особенно провинциальные, не теряли надежд на объединение с относительно «мягкими» большевиками, но со сторонниками Ленина это было невозможно (с. 237). Вместе с тем показано, что, несмотря на доктринальные различия, в общественном сознании сформировался образ «большевизма», впитавшего в себя всевозможных максималистов и анархистов. В общем, большевизм представлялся чем-то бóльшим, чем партия, — массой, объединяемой неумеренным темпераментом и агрессивностью. Не удивительно, что находились и «большевики справа» — вплоть до бывших черносотенцев (с. 254, 276–278). Встречались и «национальные» большевики. Вместе с тем нельзя забывать, что после Октября анархисты продолжали «революционизировать» массы. Так, 13 ноября 1917 г. В.Л. Гордин публично пообещал: «Мы большевистское правительство низвергнем». Через несколько дней другой анархист Г. Сахновский заявил большевикам: «Не забывайте, что теперь есть группы более левые, чем вы»<sup>7</sup>.

В другой статье Тарасов приводит целый набор инвектив («предатели», «шкурники» и т.п.), которыми награждали реальных и вымышленных большевиков их противники. Вероятно, их можно объединить понятием «стихийный большевизм», от которого «идейные большевики» всё же дистанцировались (с. 287). Вместе с тем большевизм превратился в бранное слово, которым награждали всякого радикала внутри того или иного социума. «Большевиками» неслучайно называли и В. Мейерхольда, и В. Брюсова, и даже И. Северянина (с. 291–293).

Эту тему продолжил П.Г. Рогозный (Санкт-Петербургский институт истории РАН), отметивший, что «церковный большевизм» (вместе с «церковным ленинством») появился в апреле 1917 г. с «лёгкой руки» тверского архиепископа Серафима (Чичагова). Со временем большевизм в церковной среде также стал распространённой, хотя и эфемерной политико-эмоциональной метафорой, навеянной естественными для революционного времени социальными страхами. Впрочем, в 1917 г. говорили и о «церковных анархистах». В марте 1918 г. Поместный собор образовал даже специальную комиссию «о большевизме в церкви» (с. 296), которая «выводила» генеалогию данного феномена с начала Февральской революции (с. 310). Комиссия подтвердила, в частности, факты «большевистствования» в монастырях (с. 309–310) и среди епископов. Так, на Украине некогда крайне правый архиепископ Агапит (Вишневецкий) попеременно приветствовал С.В. Петлюру, Добровольческую армию и большевиков (с. 314). Получается, что разрушительная сила большевизма связана не столько с ленинской партией, сколько с его способностью проникать даже в чуждую социальную среду, что признавалось церковными деятелями (с. 307).

Революция тяготеет к «большим», эмоционально окрашенным понятиям. В сущности, это уже не понятия, а образы, формирующие новую реальность. В Советской России сформировалась целая иерархия таких агрессивно-насыщенных псевдопонятий, призванных легитимизировать государственно-бюрократический строй (именуемый «общественным»). В известном смысле эта реальность становилась внутренне неустойчивой именно из-за зыбкости её словесного оформления, выросшего из революции.

В заключение хотелось бы вернуться к предисловию Б.И. Колоницкого, в котором высказывается намерение авторов книги «избежать телеологичного видения гражданской войны». Разумеется, отказ от подобного подхода необходим: сомкнувшись в своё время с известными доктринальными установками, он основательно выхолостил всё содержание истории XX в. Однако нельзя не заметить, что безбрежная альтернативность ведёт к своего рода когнитивному разоружению, а то и просто к историографической путанице. Во всяком случае данный сборник, насыщенный малоизвестной информацией «квази-политического» характера, убеждает, что за хаосом Гражданской войны стояли куда более глубокие закономерности, чем мы привыкли думать.

## Примечания

<sup>1</sup> См.: *Петров Ю.А.* Россия накануне Великой революции 1917 г.: современные историографические тенденции // *Российская история.* 2017. № 2. С. 3–16.

<sup>2</sup> См.: *Булдаков В.П.* Революция, которую мы выбираем. Итоги и перспективы «юбилейного» бума // *Российская история.* 2018. № 6. С. 3–26.

<sup>3</sup> *Андреев Л.Н.* S.O.S.: Дневник (1914–1919); Письма (1917–1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918–1919). М.; СПб., 1994. С. 361.

<sup>4</sup> См.: *Булдаков В.П.* Красная смута: природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 343; *Булдаков В.П.* Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления. М., 2007. С. 76–114.

<sup>5</sup> *Голдин В.И.* Север России на пути к Гражданской войне: Попытки реформ. Революции. Международная интервенция. 1900 – лето 1918 г. Архангельск, 2018. С. 23–24.

<sup>6</sup> См.: *Милоков П.Н.* Вооружённый мир и ограничение вооружений. М., 2003.

<sup>7</sup> Цит. по: *Канев С.Н.* Октябрьская революция и крах анархизма (Борьба партии большевиков против анархизма). М., 1974. С. 93.